

МЕМУАРЫ ИСТОРИКОВ НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ: ЛИЧНОСТНАЯ РЕФЛЕКСИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

© 2016 О.Б. Леонтьева

Поволжский филиал Института российской истории РАН, г. Самара
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва

Статья поступила в редакцию 21.09.2016

В 1990-2010-х гг., на переломе исторических и историографических эпох, опытом самопознания научного сообщества стал своеобразный «мемуарный взрыв»: ряд российских историков, принадлежащих к разным поколениям, представил на суд современников свои воспоминания. Сочетая признаки исторического источника, историографического факта и литературного текста, воспоминания историков несут ценную информацию о коммуникативных практиках научной среды, корпоративном этосе, стратегиях личного поведения ученого перед лицом вызовов эпохи, что позволяет рассматривать их как одно из проявлений антропологизации историографии, поворота к изучению «научного быта». Верность историка нормам профессиональной этики трактуется как экзистенциальный выбор, залог сохранения личностной и групповой идентичности в контексте «катастрофического русского историзма».

Ключевые слова: мемуары, воспоминания, историческая наука в России, современное состояние исторической науки.

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-01-00418.

В 1990-2010-х гг., на переломе исторических и историографических эпох, заметным явлением в жизни научного сообщества историков стал «мемуарный взрыв» (термин А.Г. Тартаковско-го): ряд российских историков, принадлежащих к разным поколениям, представил на суд современников свои воспоминания.

За истекший век это второй пример «мемуарного взрыва» именно в профессиональной среде историков. Первый подобный опыт коллективного самопознания научного сообщества – эго-документы историков, созданные в первой половине XX в. и посвященные, как правило, последним годам существования императорской России, революции 1917 г., гражданской войне. Этот комплекс эго-документов историков (представленный, в частности, мемуарами П.Н. Милюкова, М.М. Богословского, С.Ф. Платонова, А.А. Кизеветтера, Н.И. Кареева, а также дневниками Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского) стал предметом анализа, например, в диссертации С.В. Павловской¹, в работе Н. Северной².

Современный «мемуарный взрыв» пришелся на 1990-2010-е гг. – время, которое современный историограф и методолог Л.Р. Хут справедливо характеризует как «эпоху перемен» и «эпоху порубежья» в истории исторической науки³. Причин тому множество: и уход в прошлое советской эпохи, и радикальные изменения социального

статуса и профессиональной культуры ученого-гуманитария, и, конечно, познавательные повороты в исторической науке, которые привели к обновлению методологического инструментария историка и «актуализировали для исторического сообщества проблему самопознания»⁴. Все эти явления породили потребность осмысления тех перемен, в которые историк вовлечен и как свидетель, и как участник. Частью нынешнего «мемуарного взрыва» оказались и воспоминания историков, написанные в более ранний период (в 1960-1970-е годы), но по разным причинам ставшие доступными отечественному читателю значительно позже (например, мемуары А.А. Зимины, А.М. Некрича, М.Г. Рабиновича).

Феномен «мемуарного взрыва» в профессиональной среде историков, безусловно, требует своего осмысления: выявить в массиве мемуарных текстов, созданных историками, некие общие черты – значило бы понять, в какой мере мы можем говорить о коллективной идентичности современных российских историков, вокруг каких общих воспоминаний, переживаний и ценностей строится эта идентичность.

Историк-мемуарист – в некотором смысле фигура парадоксальная: он (или она) берется за написание воспоминаний, будучи вооружен навыками источниковедческого анализа и, следовательно, прекрасно осознавая всю неполноту и субъективную односторонность того исторического свидетельства, которое должно получиться в результате. В таком случае как интерпретирует сам историк побудительные причины, заставившие его взяться за написание мемуаров? Отме-

Леонтьева Ольга Борисовна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Поволжского филиала ИРИ РАН, профессор кафедры Российской истории Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва. E-mail: oleontieva@yandex.ru

ченны ли мемуары историков особой критической рефлексией в отношении метода познания прошлого? Наконец, оставили ли свой отпечаток в мемуарных текстах «познавательные повороты» в исторической науке второй половины XX века?

Специфика мемуаров, написанных историком, выступает более рельефно, если применить к их анализу современные методики работы с текстами «от первого лица» из исследовательского арсенала филологии и психологии: например, изучение «ролевых моделей», «фигур авторской идентификации» повествователя⁵. Так, в работах психолога В.В. Нурковой выделено несколько возможных позиций, которые может занимать мемуарист относительно исторического события: позиции Участника события, Очевидца, Современника и, наконец, Наследника⁶. С.В. Павловская, исследуя воспоминания историков 1920-1930-х гг., пришла к выводу, что историк – автор мемуарного текста – может выступать в нем, «во-первых, как *современник, участник, гражданин* (собственно, как и многие другие мемуаристы); во-вторых, как *исследователь-профессионал*, дающий особый тип свидетельства, пронизанного научным анализом информации»⁷. Как отмечает она, в мемуарах историков, «наряду с общепринятыми признаками мемуарного комплекса», присутствует «*научно-исследовательское отражение действительности*» – то есть более высокий, аналитический уровень осмысления современных мемуаристу исторических событий, чем в других подобных источниках⁸, и именно это позволяет выделить воспоминания историков в «особый мемуарный комплекс». Логично задаться вопросом: остается ли справедливым это суждение в отношении мемуаров историков, написанных в конце XX века?

Рефлексия, порожденная навыками работы с историческими источниками, безусловно, пронизывает практически весь комплекс мемуаров, созданных историками. Примечательны такие признания историка-мемуариста А.Я. Гуревича: «Разумеется, мои воспоминания субъективны: фактическая канва событий, история, с одной стороны, и память – с другой, вступают в известное противоречие. В конечном счете все, что я могу изложить, – это симбиоз фактической истории и памяти, в котором я стараюсь придерживаться правды, и до сих пор, кажется, мне это удавалось, во всяком случае, настолько, насколько позволяет искренность»⁹. Более скептически, с долей самоиронии оценивает степень исторической достоверности своих мемуаров Р.Ш. Ганелин: «Разумеется, я старался быть точным. В некоторых случаях мне удалось проверить свою память. Но это относится далеко не ко всему мною написанному, и мне остается сослаться на то, что ведь и апокриф характеризует время и обстоятельства своего возникновения»¹⁰. Как отмечает И.В. Нарский, в последние годы все

более распространяется представление, что сам историк – «пленник памяти, мифов, ценностей, предпочтений и интерпретационных стереотипов своего коллектива – профессионального, этнического, гендерного и пр.»; однако признание субъективности историописания означает не капитуляцию науки, «а повышение планки требований к ученым-историкам по поводу саморефлексии и выработке более контролируемых процедур научного исследования»¹¹. (Заметим в скобках, что образцом такой саморефлексии является «автобио-историко-графический» труд самого И.В. Нарского.)

В то же время мемуары обладают сущностными признаками литературного текста. Являясь по сути своей автобиографическим рассказом о жизни мемуариста, они могут быть подчинены при этом той или иной «сверхзадаче» – стержневой идее, ради которой они создаются, которую они призваны передать читателю. (На это обратила внимание Н.Северная, анализируя эго-документы Н.И. Кареева, Ю.В. Готье и С.Б. Веселовского.) Иногда такая сверхзадача обозначена уже в заглавии воспоминаний. Так, воспоминания А.Я. Гуревича озаглавлены «История историка»; их смысловым стержнем является история становления ученого-профессионала¹². Воспоминания А.А. Зимина носят название «Храм науки»; смысл этого названия и скрытая в нем ирония (несоответствие высокой социальной миссии историка и реальных нравов советского ученого сообщества) становятся понятны по ходу прочтения текста мемуаров¹³. Воспоминаниям Р.Ш. Ганелина дано название «Советские историки: о чем они говорили между собой»; в нем уже отражена стержневая идея книги – без знания специфического мира личного общения и «особого, кулуарного, устного слова» невозможно адекватно понять историографические процессы советской эпохи¹⁴. Мемуары казанского историка А.Л. Литвина озаглавлены «Жизнь как выживание», отражая горечь жизненного опыта¹⁵ (первая глава воспоминаний самарского историка П.С. Кабытова – о послевоенном детстве – в свою очередь названа «Детство на выживание»¹⁶). Автобиографическая книга В.Б. Кобринина получила название «Кому ты опасен, историк?» (один из ее разделов, кроме того, озаглавлен «Опасная профессия»)¹⁷, а воспоминания А.М. Некрича – история становления ученого-диссидента – названы «Отрешись от страха»¹⁸. Внутренняя перекличка этих названий достаточно очевидна.

Выбор «точки отсчета» мемуаров – события, которое выступает в качестве отправного пункта повествования – также многое может поведать об их «сверхзадаче». В большинстве случаев мемуаристы начинают свой рассказ *ab ovo*: я родился в таком-то году в такой-то семье... Однако, например, воспоминания А.Я. Гуревича начинаются с того, как в 1944 году он перевелся

с заочного отделения МГУ на очное; воспоминания А.М. Некрича – с момента его поступления в аспирантуру Института истории АН СССР после демобилизации в 1945 году. В том и другом случае читателю понятно, что смысловым стержнем повествования будет история профессионального становления. Р.Ш. Ганелин в качестве точки отсчета своих мемуаров выбрал 1949 год, объясняя это так: именно тогда «я ощутил, что процесс моего созревания завершен», – то есть выработал скептическое отношение к официальному слову¹⁹. Воспоминания А.Л. Литвина начинаются с той мартовской ночи 1941 года, когда был арестован его отец; с этого момента началась взрослая жизнь 10-летнего мальчика, и это событие впервые заставило его ощутить себя «чужим» среди окружающих («Чужой» – так названа первая глава мемуаров). Мемуары Е.В. Гутновой также начинаются с очерка о ее отце, меньшевике В.О. Цедербауме-Левицком, чья трагическая судьба (непрерывные аресты и ссылки с 1920 г. и до самой гибели в 1938 г.) наложила отпечаток на всю жизнь дочери и рано приучила ее к «атмосфере постоянной раздвоенности»: искренняя вера мемуаристки в дело социализма сочеталась с «чувством неполноценности» и «страхом разоблачений», любовь к отцу и восхищение им – с попытками обосновать историческую неправоту меньшевизма²⁰. Как символическая точка отсчета (не столь ярко выраженная в структуре текста) может фигурировать перечень книг по истории, беллетристических и научно-популярных, прочитанных мемуаристом в детстве и предопределивших его профессиональный выбор²¹.

Можно ли выделить сквозную, глобальную «сверхзадачу» мемуаров, пронизывающую все подобные тексты и включающую их в единое смысловое поле? Если доверять таким ведущим специалистам в сфере изучения мемуаристики, как А.Г. Тартаковский и И.А. Паперно, стержневой идеей русской мемуаристики является идея столкновения человека и истории – пересечения частной судьбы и «большой дороги» исторического процесса. Как доказывал А.Г. Тартаковский, подлинное рождение русской мемуаристики состоялось в 1830-е годы, после того бурного времени, когда «средний рядовой человек на собственном опыте впервые почувствовал вторжение Истории в повседневность»; из этого выросло «желание соотносить все частное с общим жребием человечества», «“историософский” угол зрения» при воссоздании личной биографии²².

Согласно И.А. Паперно, ключевой метафорой мемуаристики является образ «человека, случайно попавшегося на дороге истории». Но если в мемуарах XIX в. этот образ был связан с возвышающим душу переживанием сопричастности великим событиям (эмблематическая «встреча Гегеля, на улице, с Наполеоном на белом коне»), то в мемуарах XX века эта метафора переросла в образ

«дорожной катастрофы»: история представала в пугающем образе «колесницы Джаггернаута», «броситься под колеса которого было делом осознанного выбора, или взбесившегося автомобиля, под колеса которого человек попадал случайно»²³. Иррациональная непостижимость и безжалостность исторического процесса стали восприниматься как его ключевые характеристики.

И в воспоминаниях историков, как правило, отчетливо выделяются события, которые самими мемуаристами воспринимаются как пережитые ими исторические катастрофы. В зависимости от времени рождения историка, от судьбы его самого и его семьи это может быть Великая Отечественная война и/или массовые репрессии. В мемуарах историков 1920-х - начала 1930-х годов рождения в качестве иррационально-катастрофического события предстает «борьба с космополитизмом» рубежа 1940-1950-х, заставшая их студентами или аспирантами²⁴ (характерен сам язык, который для описания этой кампании использует А.Я. Гуревич: «макаберность происходящего», «оргии», «вакханалия», «скрытая угроза», «страх», «иррациональность») ²⁵. Для историков того же или следующего поколения в качестве катастрофического события мог выступать 1968 год, год «чехословацкой драмы»²⁶. В воспоминаниях Н.А. Троицкого в качестве катастрофического события, навсегда расколовшего привычную жизнь, выступает распад СССР (глава, повествующая об этих событиях, названа «Другая страна», и эта другая страна описана как абсурдное зазеркалье по отношению к утраченным советским реалиям)²⁷.

Отличительный признак катастрофического события – не только его трагизм и масштабность, но внезапность и иррациональность, невозможность объяснить происходящее с помощью привычной логики. В воспоминаниях Е.В. Гутновой особенно рельефно выступает драматическое противоречие между убеждением в существовании объективных закономерностей истории – и личностным, человеческим ощущением иррациональной катастрофичности происходящего. С одной стороны, она вспоминает, что еще в детстве и ранней юности прочитанные книги по истории «рождали в душе еще неосознанное ощущение закономерностей хода исторических событий, их непреодолимости волей отдельных, даже самых крупных личностей», и это «позволяло мне сохранить объективный взгляд и на события происходившей вокруг меня великой революции, оценивать их с какой-то более высокой позиции, чем личные горести и невзгоды»²⁸. Признаваясь в своей искренней приверженности марксистскому пониманию истории, Е.В. Гутнова считает его «наиболее удачной “рабочей гипотезой” для серьезного историка, которая дает возможность... соединить познание индивидуального и конкретного с выявлением исторических

обобщений и закономерностей исторического развития»²⁹; характеризуя свою научную работу, она пишет о стремлении понять жизнь далекой Англии XIII-XIV веков, «понять действия и помыслы людей той поры, обнаружить законы, управлявшие ими» и «объективный смысл происходивших между ними конфликтов»³⁰. С другой стороны, репрессии 1930-х гг., затронувшие многих близких людей мемуариста, предстают в тексте воспоминаний как стихийное бедствие – «буря», «катастрофа», «адский бедлам», когда «кругом разверзалась земля»; атмосфера того времени охарактеризована через «ощущение зыбкости, фантазмагоричности всего происходящего, непомерной жестокости к людям»; глава о событиях 1937-1938 гг. названа «Обвал»³¹. «В эти месяцы, – пишет Е.В. Гутнова, вспоминая 1938 год, – меня постоянно преследовал все время один образ: будто я и мои близкие – какие-то растения вроде кустов, прилепившиеся корнями к высокому песчаному обрыву. Ураганный ветер треплет эти растения, пригибает их к скале, стремится вырвать из почвы, а они, трепеща на ветру, прижимаются к ней, цепляются за нее корнями, но вот-вот не выдержат и полетят в бездну»³². Горькие вопросы, которые историк задает себе в финале книги – «нужен ли был этот семидесятилетний зигзаг – жестокая революция, братоубийственная гражданская война, насильственная коллективизация, неподготовленность к войне и столь жестокие неоправданные ее жертвы?»³³ – в данном случае уже не сопровождаются ссылками на исторические закономерности и объективный смысл происходившего.

Историческая катастрофа бросает вызов историку и как человеку, которому не посчастливилось «жить в эпоху великих перемен», и как специалисту, который по долгу своей профессии стремится к пониманию и концептуальному объяснению происходящего.

В стремлении «понять» – в требовании «понять», которое историк адресует самому себе, – исследовательская и жизненная позиции сливаются воедино. Яркий пример тому – воспоминания А.М. Некрича: «Во время войны мне пришлось многое увидеть и еще больше понять... Скажу здесь поэтому только одно: книга о начале войны в июне 1941 г. была мною задумана в те дни, когда я в теплушке возвращался из Восточной Пруссии в Москву. Но осуществить свое намерение мне удалось лишь значительно позже. Должно было пройти почти двадцать лет занятий историей, чтобы я созрел для такой книги»³⁴.

Но возможна ситуация, когда и отказ историка «понять», «разумно объяснить» происходящее – и тем самым «нормализовать» его, смириться с трагедией, – становится осознанной личностной позицией. «Что касается репрессированных в те годы и их дальнейшей судьбы, то я никогда не мог ответить на вопрос, который мучает меня до сих

пор: за что, во имя чего погибли миллионы людей, почему их родные стали изгоями в своей стране, у себя на родине?.. Я не знаю ответа на этот вопрос, и от этого не становится легче»³⁵. Однако за этим признанием в мемуарах А.Л. Литвина следует подробный рассказ о новом повороте его исследовательской работы в 1990-е гг. – о поиске и публикации ранее засекреченных архивных источников, прежде всего по истории гражданской войны и массовых репрессий. Профессиональный труд историка – написание книги, публикация источника – выступает в данном случае и как уплата долга личной памяти, и как вызов репрессивной машине, уничтожавшей людей и память о них, и как выполнение добровольно взятой на себя социальной миссии: «Проблема, на мой взгляд, состояла в том, чтобы идея недопустимости террора как государственной практики прочно овладела как населением, так и правителями»³⁶.

Выполнение профессионального долга может осознаваться мемуаристом как единственно возможный и достойный ответ на самые разнообразные вызовы времени. Так, одним из лейтмотивов воспоминаний археолога М.Г. Рабиновича становится тема спасения культурных ценностей в критической ситуации (см. его рассказ о том, как он, аспирант, во время «московского осажденного сидения» зимой 1941-1942 гг. в качестве и.о. директора Научной библиотеки Московского государственного университета спасал библиотечную коллекцию в пострадавшем от бомбежек здании, или у него же – об археологических раскопках в Кремле в 1959-1960 гг., буквально «из-под фундамента» строящегося Дворца съездов)³⁷. Пережитый катастрофический опыт сближает историка с десятками и сотнями тысяч его современников; «ремесло историка» связывает его со средой коллег-профессионалов.

В качестве смыслового и сюжетного стержня мемуаров историков обычно выступает также их профессиональное становление, научная карьера, взаимоотношения с коллегами. В большинстве случаев, как представляется, мемуарист видит в качестве «идеальных читателей» именно своих коллег по историческому цеху; для них предназначаются те страницы и главы, которые содержат историю научных поисков, размышления о методах и социально-этических сторонах деятельности ученого, где – образно говоря – приоткрывается дверь в творческую лабораторию историка (архетипическим текстом в этом плане являются «Воспоминания и мысли историка» академика Н.М. Дружинина, первые мемуары историка, опубликованные в советское время – в 1967 г.)³⁸. Собратьям по историческому цеху адресованы и те разделы мемуаров, где подробно рассказывается о межличностных отношениях коллег, об узах дружбы и преемственности или же о конфликтах в научной среде. В последнем случае, как правило, позиции сторон излагаются

отнодь не беспристрастно; и логика, и сам стиль повествования ясно дают понять, какую сторону в конфликте занимал и занимает по прошествии времени мемуарист, а читатель приглашается на роль заочного арбитра в этих «боях за историю».

Баланс между историей научного поиска и историей профессиональных коммуникаций в мемуарах может сдвигаться то в одну, то в другую сторону. Так, воспоминания А.Я. Гуревича дают возможность практически пошагово проследить траекторию его становления как оригинального историка с «лица необщим выраженьем», проделанный им путь от школы А.И. Неусыхина к историко-антропологической проблематике³⁹. Рассказ о профессиональном становлении мемуариста и его «постоянной борьбе с окружающими социальными условиями, советской бюрократией, властью имущими недругами, консерватизмом мышления коллег»⁴⁰ перемежается заочной дискуссией с М.М. Бахтиным и Ж. Ле Гоффом о моделях средневековой культуры, переплетается с методологическими размышлениями о том, «как развивается научное знание» и о причинах «коперниканского поворота» в исторической науке XX века⁴¹; текст выходит за рамки жанра воспоминаний, тяготея к научному, полемически заостренному очерку. В этом плане воспоминания А.Я. Гуревича, пожалуй, наиболее близки по замыслу к «Опытам эго-истории» – известному проекту П. Нора, который предложил видным французским историкам написать истории собственной научной жизни с применением профессионального эпистемологического инструментария⁴².

В свою очередь, книгу В.Б. Кобринина «Кому ты опасен, историк?» можно воспринимать как своеобразную школу «ремесла историка». Как было отмечено рецензентом, «три главы книги отражают три стадии исторического исследования»: поиск источников (история археографических экспедиций, в которых участвовал Кобрин), работа с источником (исследование угличского дела о гибели царевича Дмитрия, анализ четырех различных версий), наконец, формирование концепции (краткий очерк развития советской исторической науки, во многом построенный на основе личных воспоминаний)⁴³. Все историографические и автобиографические сюжеты книги («академическое дело» 1930 г., судьба школы М.Н. Покровского, «борьба с космополитизмом», научная судьба С.Б. Веселовского, А.А. Зиминой, Н.Я. Эйдельмана) построены вокруг проблем этики исторического исследования («честности историка») и норм профессионального поведения («правил научной игры»)⁴⁴.

При всех различиях книги А.Я. Гуревича и В.Б. Кобринина объединяет внимание обоих авторов к методологии и методике исторического исследования. Показательно, что оба дают своим читателям своеобразный «мастер-класс» работы с историческим источником: А.Я. Гуревич под-

робно пишет о важности исследовательского «вопросника», обращенного к источнику; В.Б. Кобрин – об умении находить «частицу исторической действительности» даже в тенденциозном источнике⁴⁵. В воспоминаниях историка-германиста И.Я. Биска обширный раздел посвящен преподавательскому мастерству: мемуарист подробно делится со своим читателем опытом того, как строить лекцию, как вести семинарские занятия, как принимать экзамены, как осуществлять руководство дипломной работой студента, чтобы достичь ключевой цели преподавателя – «научить учиться»⁴⁶. Воображаемый адресат мемуаров предстает во всех этих случаях не только как внимательный слушатель, но и как потенциальный ученик, готовый перенимать «ремесло историка»; мемуары становятся одним из способов трансляции профессиональных знаний и норм.

Примером нестандартного построения воспоминаний может служить работа И.В. Нарского «Фотокарточка на память: Семейные истории, фотографические послания и советское детство (Автобио-историко-графический роман)». В этой книге, определенной самим автором как «автобиографический эго-документ», соединяются несколько тематических пластов: детские воспоминания автора, реконструкция его семейной истории, очерки советской повседневности переплетаются с «дневником исследователя» – историей созревания замысла книги и его поэтапного воплощения, а также методологическими эссе, посвященными проблемам интерпретации визуальных изображений и изучения индивидуальной и коллективной памяти. Читая автобиографическую работу, читатель в то же самое время получает возможность проследить, как она рождалась, вместе с автором пройти путь создания научного труда – выдвижение гипотез, выбор методов, поиск свидетельств и доказательств, обсуждение идей с коллегами, сомнения, тупиковые ситуации и их преодоление... Создание научного текста является в книге и предметом исследовательской рефлексии, и актом семейной коммуникации (книга предназначена прежде всего «для ее ныне здравствующих героев» – близких людей автора, его дочерей и внука), и экзистенциальным событием («возвращением к себе, узнаванием себя»⁴⁷). В современной историографии книга И.В. Нарского интерпретируется как пример новаторской «самодиагностики» историка⁴⁸; впрочем, она до сих пор является единственной в своем роде.

Человек и профессиональная среда – едва ли не основная, центральная тема мемуаров историков. Каждая из таких книг может послужить бесценным источником прежде всего для изучения «историографического быта», сети коммуникаций и практик поведения в сообществе ученых. Пожалуй, в воспоминаниях Р.Ш. Ганелина наиболее отчетливо звучит мысль

о том, что без знания этого контекста невозможно адекватное понимание историографического процесса XX века: «Производившийся в то время, о котором я рассказываю, историографический и источниковедческий анализ событий и явлений, независимо от того, к каким историческим периодам они относились, был связан с множеством обстоятельств, казалось бы, чуждых науке, но, к сожалению, очень и очень на нее влиявших, в гораздо большей мере, чем в другие времена... И для подлинно научных оценок историографии важны реалистические представления об условиях, в которых жили создававшие ее люди... Не только быт в узком смысле этого слова (в какой квартире жили и т. д.) имеется при этом в виду, но и житейские обстоятельства в отношениях между различными частями исторической корпорации, между историками и властью»⁴⁹. Сходную мысль встречаем у А.А. Зимина: «Мне кажется, что без подобных свидетельств когда-то, лет через 50 будет очень трудно разобраться в борьбе страстей, в обстоятельствах, вызывавших появление тех или иных трудов»⁵⁰.

Тема «историк в советскую эпоху» в силу очевидных причин занимает видное место в большинстве воспоминаний, приобретая – в зависимости от личности, убеждений и человеческого опыта мемуариста – то трагическое, то ностальгическое, то сатирическое звучание. Осмысление опыта жизни и работы историка в советском обществе строится вокруг таких сюжетов, как «историк и власть», «догма и научный поиск», практика цензуры и самоцензуры. Уже стала классикой типология «ролевых моделей», стратегий поведения советского историка, предложенная в воспоминаниях А.Я. Гуревича и В.Б. Кобринна. В числе таких стратегий мемуаристы называют различные способы ухода во «внутреннюю эмиграцию» (отказ от изучения истории XX в. и обращение к «более ранним периодам», «узкая специализация», «скрупулезный анализ источников», «разработка сугубо конкретных сюжетов без каких-либо широких обобщений»), а также практику самоцензуры (советский историк «исходил не только из собственных критериев истины или ее искажения, он предусматривал реакцию и заведующего отделом, и директора института, и тех сил, которые стоят за ним, т.е. идеологического отдела ЦК, и всяких других организаций»)⁵¹.

Воспоминания Е.В. Гутновой содержат рассказ о том, насколько сложным было соблюдение «правил игры» даже для тех историков, которые искренне стояли на марксистских позициях, не приемля лишь «вульгаризированных трактовок» марксизма; сколько «усилий, изворотливости и, конечно, компромиссных решений» требовалось историку, чтобы «провести свой корабль между этими рифами» (стремлением к «научно-объективному, уравновешенному подходу» к изучаемым явлениям – и необходимостью учитывать «догмы,

остававшиеся непререкаемыми»)⁵². Эта практика могла восприниматься и как нечто само собой разумеющееся. Так, в воспоминаниях Н.А. Троицкого говорится: «В 60-80-е годы совершенно искренне, как естественный продукт коммунистической системы, считал марксизм “единственно правильным” учением, хотя и мало зависел от него в конкретных исследованиях. Занимаясь сюжетами, к счастью, далекими от современности, я, подобно своим коллегам, в предисловии к очередной книге всякий раз ссылаясь на марксизм-ленинизм как “методологическую основу” исследования, но само исследование вел по собственному разумению, опираясь не на цитаты из классиков марксизма, а на документы и факты»⁵³.

Кульминационными эпизодами целого ряда мемуаров являются сцены «идеологической проработки» историков и их трудов, которые расценивались как отклонение от «генеральной линии»: «борьба с космополитизмом», «проработка» А.М. Некрича за книгу «22 июня 1941 г.», А.Я. Гуревича – за «Проблемы генезиса феодализма», А.А. Зимина – за монографию, посвященную «Слову о полку Игореве». Поскольку каждая из этих историй, как правило, подробно освещается не в одном, а в нескольких мемуарных памятниках, воспоминания историков здесь слагаются в своеобразный гипертекст, дополняя друг друга, вступая друг с другом в диалог или в заочный спор. Важно отметить, что и в этих кульминационных, драматичных, а порой и трагичных эпизодах внимание мемуариста направлено именно на выявление различных стратегий поведения коллег: ретивых «бойцов исторического фронта»; «доброхотов, кровно заинтересованных в том, чтобы на данного субъекта обрушились репрессии»⁵⁴; тех, кто присоединился к хору осуждающих голосов не из корысти, но из страха и слабости; тех, кто сочувствовал жертвам проработок, но не смел выражать им своей поддержки открыто, и т.д. По сути дела, в тексте такие сцены предстают как ситуация испытания и для самого «прорабатываемого», и для его коллег; как своеобразные «моменты истины», позволяющие увидеть без прикрас человеческую сущность каждого, – или же как бессмысленные конфликты, мучительные для всех их участников. Не случайно именно вокруг таких эпизодов потом «ломаются копыя» в рецензиях: яростные споры вспыхивают не только вокруг фактической стороны изложения событий, но и вокруг морально-этической оценки позиции самого мемуариста. Анализ этих конфликтов ни в коем случае не входит в задачу данного исследования, важно лишь отметить, что дискуссии вокруг «острых» мемуаров наглядно демонстрируют значение этических вопросов, проблем корпоративной солидарности и «доброй памяти» для идентичности ученого сообщества.

В особый жанр можно выделить воспоминания, написанные *in memoria* и посвященные

взаимоотношениям мемуаристов с их учителями и наставниками. В тех случаях, когда такие выходят за рамки обычных юбилейных или же траурных очерков, в них ставится проблема научной преемственности в широком, социально-антропологическом плане: что именно учитель передал своим ученикам, в чем заключалась притягательность его как наставника?.. Лейтмотивом воспоминаний становится тема трансляции от учителя к ученикам практик поведения, стиля преподавания и научной работы. Самарский историк В.В. Кутявин пишет об этом так: «Стараюсь в своем сотрудничестве с дипломниками и аспирантами придерживаться правил, переданных мне Учителем [ленинградским ученым-полонистом С.М. Стецкевичем]» (в частности, права ученика на свободный выбор тем, восприятия ученика как полноправного соавтора научной работы, деятельной помощи ученикам в решении «бюрократических» вопросов организации защиты диссертации)⁵⁵. Сходным образом высказывается об этой живой преемственности и другой ученик С.М. Стецкевича, С.И. Щеголев: «Очень нравилась его манера читать лекции, вести семинарские занятия, иногда я даже неосознанно подражал ему. Даже сейчас, спустя много лет, я ловлю себя на том, что использую выражения Станислава Михайловича, его интонации»⁵⁶.

В данном случае – как и во многих подобных – речь идет о передаче не просто правил научной этики или манеры поведения, но групповой идентичности, внутреннего чувства принадлежности к единому сообществу. Так, В.С. Савчук предпринимает опыт реконструкции «картины мира», нравственных установок и поведенческих практик его вузовских преподавателей-историков – «старших коллег», у которых он учился и с которыми общался в 1960-1980-е годы. На примере четырех своих учителей он, по сути дела, ведет речь о групповой идентичности советской (точнее, «не во всем советской») интеллигенции того времени. Мемуарист выделяет такие ее черты, как способность к рефлексии, ощущение себя «не такими, как все», лишенное сервильности отношение к власти («могли обольщаться, но не умели пресмыкаться»), склонность к шутке и иронии, а самое главное – стремление, «во-первых, к сохранению культурного наследия во всей его полноте и, во-вторых, к расширению интеллектуальной свободы»⁵⁷. Сходным образом очерчивает общие качества своих университетских учителей В.В. Кутявин: «Обладая выраженной индивидуальностью, все три моих Учителя (С.М. Стецкевич, В.А. Якубский, Л.А. Маркарянц. – О.Л.) имели общие черты: настоящий профессионализм, преданность делу... чувство внутренней свободы, личного достоинства и уважение к достоинству другого, в высшей степени присущее всем троим. Наверное, в основе этой внутренней свободы – образованность, интеллигентность как система

понимания и взаимодействия с миром, даже если этот мир фальшивый и вульгарный»⁵⁸. Р.Ш. Ганелин обрисовывает такие черты сообщества историков, как «иронический взгляд на дело», скептицизм («как научно-методический, источниковедческий, так и общеметодологический, политический»), профессионализм, неизбежно включавший в себя «осмотрительность и житейски полезную уклончивость»⁵⁹.

«Сверхзадачей» мемуарного текста, посвященного взаимоотношениям с Учителем / Учителями, становится проблема возобновления преемственности (например, в воспоминаниях П.С. Кабытова главы «Учителя» и «Докторанты» следуют друг за другом, зримо воплощая идею преемственности⁶⁰). Возможно ли сохранение той, особой культуры человеческих и профессиональных взаимоотношений и передача ее следующим поколениям – в наши дни, когда социокультурная ситуация по сравнению с 1960-1980-ми годами изменилась столь разительно?..

Исторический перелом 1990-х гг. представлен во многих мемуарах как некая новая поворотная точка. Как современник и очевидец историк-мемуарист фиксирует самые разнообразные – яркие и мрачные, трагикомические и абсурдные – приметы новой эпохи; как профессионал, отмечает прежде всего изменение «правил научной игры», условий для научной работы. В качестве позитивных перемен отмечается следующее: возможность зарубежных поездок, свободных дискуссий и обмена идеями с иностранными коллегами (иногда с горечью отмечается, что такая возможность была обретена с большим запозданием)⁶¹; открытие архивов, возможность восстановления исторической памяти и доброго имени жертв репрессивного режима⁶²; возможность отыскивать семейные корни и открыто говорить об истории своей семьи⁶³; обретение методологической свободы, исчезновение необходимости самоцензуры, возможность «перестать бояться и говорить, писать о том, что на самом деле думаю»⁶⁴. Обретение ученым-историком новых социальных возможностей – например, опыта «хождения во власть» или «хождения в бизнес» – оценивается скорее иронично⁶⁵.

В качестве негативных черт новой эпохи историки-мемуаристы отмечают падение уровня жизни ученого-гуманитария при резком возрастании объема учебной нагрузки⁶⁶; снижение уровня профессиональных требований к историку и к публикациям на исторические темы⁶⁷, стремительное формирование новых исторических мифов и их внедрение в массовое сознание⁶⁸, распространение в публицистике и общественном сознании поверхностно-высокомерного отношения к «ремеслу историка»⁶⁹. Может быть, самую горькую оценку происходящему дает В.С. Савчук, который, опираясь на мнение Г.С. Кнабе и С.Б. Рассадина, пишет, что

за последние 20 лет «произошло обесценивание внутренней нормы интеллигентного бытия», что можно констатировать «факт исчезновения интеллигенции как сколько-нибудь замечательного социокультурного слоя»⁷⁰. Однако сама публикация воспоминаний, сама рефлексия на эти темы, обращенная к сочувствующему читателю, по своей сути являются попыткой вправить «вывихнутый сустав времени».

Таким образом, мемуары историков, написанные (или пришедшие к отечественному читателю) на рубеже XX-XXI вв., как и их предшественники – мемуары историков, созданные в 1920-е гг., обладают особенностями, позволяющими рассматривать их как единый мемуарный комплекс – многоуровневый по своему содержанию.

Прежде всего, как и любые другие мемуары, воспоминания историка представляют собой опыт личностного самопознания, «возвращения к себе». Зачастую мемуары пронизывает некая сверхзадача, придающая им целостность и как личностному документу, и как литературному тексту: такой сверхзадачей может быть история профессионального становления или же история выполнения профессионального долга в ситуации столкновения с «колесницей истории» (эти две сверхзадачи могут взаимно дополнять друг друга).

За редким исключением, мемуары российских историков конца XX в. близки не к «эго-истории» в современном понимании этого термина, а к классической парадигме мемуаристики с ее жанровыми формами и акцентом на событийности. С остальной русской мемуаристикой XX века воспоминания историков объединяет прежде всего катастрофическое видение исторического процесса. «Бури эпохи» (война, массовые репрессии, идеологические кампании) предстают в тексте внезапными и иррациональными в своей разрушительной мощи. В то же время особенностью мемуаров историка является совмещение личностной и профессиональной позиции. Столкнувшись с «вызовом времени», мемуарист отвечает на него прежде всего тем, что выполняет свой профессиональный долг – «помнить» и «понимать»; такова «идеальная модель» поведения ученого, вызывающая безоговорочное одобрение мемуаристов.

Изменения исторической, социокультурной ситуации, как правило, представлены в тексте мемуаров со специфического ракурса: как изменялись условия научной работы, с какими типичными ситуациями приходилось иметь дело историку, какой выбор делал он сам и его коллеги, к каким последствиям для профессиональной карьеры и личных отношений это приводило. В центре же всех мемуаров, как правило, – мир профессиональных взаимоотношений и практик поведения историка в повседневной научной работе и в ситуациях конфликта. Лейтмотивом

через мемуарные тексты проходит тема сохранения (или, напротив, разрушения и деградации) профессиональной культуры в условиях меняющихся «правил игры».

Включение в текст мемуаров методологических экскурсов, уроков работы с источниками свидетельствует, что в качестве идеального читателя своих воспоминаний историк-мемуарист видит прежде всего своих младших коллег по цеху. К ним же обращены, как правило, и часто встречающиеся в мемуарах размышления об этосе исторического исследования и профессиональных взаимоотношений. Тем самым мемуары приобретают характер социокультурного медиатора – «проводника», «передатчика» навыков ремесла историка от поколения мемуариста к поколению его читателей.

Сочетая признаки исторического источника, историографического факта и литературного текста, воспоминания историков несут ценную информацию о коммуникативных практиках научной среды, корпоративном этосе, стратегиях личного поведения ученого перед лицом вызовов эпохи, что позволяет рассматривать их как одно из проявлений антропологизации историографии, поворота к изучению «человека в науке» и «научного быта». Верность историка нормам профессиональной этики трактуется как экзистенциальный выбор, залог сохранения личностной и групповой идентичности в контексте «катастрофического русского историзма».

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Павловская С.В. Дневники и воспоминания отечественных историков как исторический источник изучения общественно-политической и научно-педагогической жизни России конца XIX - начала XX веков. Дисс. ... канд. ист. наук. Н.Новгород, 2006.
- ² Северная Н. Мемуары и дневники историков // Грани. 2010. Май №1. URL: http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=244286 (дата обращения 21 февраля 2016 г.).
- ³ Хут Л.Р. Теоретико-методологические проблемы изучения истории Нового времени в отечественной историографии рубежа XX-XXI вв. М.: Прометей, 2010. С.104.
- ⁴ Зверева Г.И. Обращаясь к себе: самопознание профессиональной историографии в конце XX века // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. Вып. 1. М.: ИВИ РАН, 1999. С.250-251.
- ⁵ Экштут С.А. Битвы за храм Мнемозины. Историческая память и социально-ролевые функции историка // Экштут С.А. Битвы за храм Мнемозины: Очерки интеллектуальной истории. СПб.: Алетейя, 2003. С.95-100; Хестанов Р. Александр Герцен: Импровизация против доктрины. М.: «Дом интеллектуальной книги», 2001.
- ⁶ Нуркова В.В. История как личный опыт // Историческая психология и социология истории. 2009. №1. С.5-27.
- ⁷ Павловская С.В. Указ. соч. С.205.
- ⁸ Там же. С.10.

- ⁹ Гуревич А.Я. История историка. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. С.121.
- ¹⁰ Ганелин Р.Ш. Советские историки: о чем они говорили между собой. Страницы воспоминаний о 1940-х - 1990-х годах. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2004. С.33.
- ¹¹ Нарский И.В. Фотокарточка на память: Семейные истории, фотографические послания и советское детство (Автобио-историо-графический роман). Челябинск: ООО «Энциклопедия», 2008. С.331.
- ¹² Гуревич А.Я. История историка. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004.
- ¹³ Зимин А.А. Храм науки (Размышления о прожитом) // Судьбы творческого наследия отечественных историков второй половины XX века / Сост. А.Л. Хорошкевич. М.: Аквариус, 2015. С.36-39.
- ¹⁴ Ганелин Р.Ш. Советские историки: о чем они говорили между собой. Страницы воспоминаний о 1940-х - 1990-х годах. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2004. С.10-11.
- ¹⁵ Литвин А.Л. Жизнь как выживание: Воспоминания и размышления о прошлом / предисл. И.Х.Урилова. М.: Собрание, 2013.
- ¹⁶ Кабытов П.С. Судьба-Эпоха: автобиография историка. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2008. С.7.
- ¹⁷ Кобрин В.Б. Кому ты опасен, историк? М.: Московский рабочий, 1992.
- ¹⁸ Некрич А.М. Отрешись от страха. Воспоминания историка. London: Overseas Publications Interchange LTD, 1979.
- ¹⁹ Ганелин Р.Ш. Советские историки: о чем они говорили между собой. Страницы воспоминаний о 1940-х - 1990-х годах. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2004. С.34.
- ²⁰ Гутнова Е.В. Пережитое. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001. С.19-21, 86-87.
- ²¹ Дружинин Н.М. Воспоминания и мысли историка. Изд. 2-е, дополн. М.: «Наука», 1979. С.4-9; Зимин А.А. Храм науки... С.56-59; Троицкий Н.А. Книга о любви (Записки историка). Саратов: ОАО «Приволжское книжное издательство», 2006. С.20-22.
- ²² Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века. М.: «Археографический центр», 1997. С.16, 19, 22.
- ²³ Паперно И. Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель // Новое литературное обозрение. 2004. №68. С.112, 115-227, 120.
- ²⁴ Некрич А.М. Отрешись от страха. С.37-64; Кобрин В.Б. Кому ты опасен, историк?... С.138-139, 163-176.
- ²⁵ См.: Гуревич А.Я. История историка... С.34-53.
- ²⁶ Некрич А.М. Отрешись от страха. С.315; Стецкевич М.С. Об отце // Памяти профессора Станислава Михайловича Стецкевича. Статьи и воспоминания. Казань, 2015. С.107.
- ²⁷ Троицкий Н.А. Книга о любви... С.170-196.
- ²⁸ Гутнова Е.В. Пережитое.... С.7.
- ²⁹ Там же. С.427.
- ³⁰ Там же. С.426.
- ³¹ Там же. С.87, 168-171.
- ³² Там же. С.170.
- ³³ Там же. С.422.
- ³⁴ Некрич А.М. Отрешись от страха... С.211-212.
- ³⁵ Литвин А.Л. Жизнь как выживание... С.46.
- ³⁶ Там же. С.182.
- ³⁷ Рабинович М.Г. Записки советского интеллектуала / Публикация и коммент. О.В. Будницкого; вступ. статья Л.А. Беляева, О.В. Будницкого, В.Я. Петрухина. М.: Новое литературное обозрение; Международный исследовательский центр российского и восточноевропейского еврейства, 2005. С.185-200, 296-302.
- ³⁸ Дружинин Н.М. Воспоминания и мысли историка. Изд. 2-е, дополн. М.: «Наука», 1979. С.88-118.
- ³⁹ В то же время сам А.Я. Гуревич специально оговаривал, что воспроизводит в воспоминаниях лишь упрощенную схему развития своей научной мысли и генезиса своего метода. – См.: Гуревич А.Я. История историка... С.64.
- ⁴⁰ Зарецкий Ю. [Рец. на:] А.Я. Гуревич. История историка. М.: РОССПЭН, 2004. 288 с. Тираж 1500 экз. (Серия «Зерно вечности») // Критическая масса. 2006. №3. – Сайт «Журнальный зал». URL: <http://magazines.russ.ru/km/2006/3/za20.html> (дата обращения 18 февраля 2016 г.).
- ⁴¹ Гуревич А.Я. История историка... С.109-119, 220-245.
- ⁴² Нора П. Вступление и Заключение к книге «Опыты эго-истории» // Дискурс: коммуникативные стратегии культуры и образования. М., 2007. №14/15. С.56-68; Троицкий Ю.Л. Эго-история // Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь / Отв. ред. А.О. Чубарьян. М.: Аквилон, 2014. С.541-543.
- ⁴³ Смирнов И.В. [Рец. на:] В.Б. Кобрин. Кому ты опасен, историк? М.: Московский рабочий, 1992. 225 с. Тираж 4000 экз. // Отечественная история. 1994. №2. С.213-216.
- ⁴⁴ Кобрин В.Б. Кому ты опасен, историк? ... С.138-193, цит. с.184, 193.
- ⁴⁵ Там же. С.195-216, цит. с.208.
- ⁴⁶ Биск И.Я. Мой XX век: Записки историка. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2003. С.225-290.
- ⁴⁷ Нарский И.В. Фотокарточка на память... С.18, 486-487.
- ⁴⁸ Кукулин И. Фотографическое печенье «Мадлен» // Новое литературное обозрение. 2008. №4 (92). С.211-224; Янковская Г.А. Анти-Хаксли, или Миссия выполняема // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 28. 2009. С.335-341.
- ⁴⁹ Ганелин Р.Ш. Советские историки: о чем они говорили между собой. Страницы воспоминаний о 1940-х - 1990-х годах. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2004. С.23.
- ⁵⁰ Зимин А.А. Храм науки... С.37.
- ⁵¹ Гуревич А.Я. История историка... С.96-97.
- ⁵² Гутнова Е.В. Пережитое... С.307.
- ⁵³ Троицкий Н.А. Книга о любви... С.132.
- ⁵⁴ Гуревич А.Я. История историка... С.148-149. О том, что позиция самих «бойцов исторического фронта» могла также быть неоднозначной, см. воспоминания Е.В. Гутновой, с.328-335, 346-351.
- ⁵⁵ Памяти профессора Станислава Михайловича Стецкевича. Статьи и воспоминания. Казань: Изд-во «ЯЗ», 2015. С.118-120, 123, 125.
- ⁵⁶ Щеголев С.И. Мой С.М. Стецкевич // Памяти профессора Станислава Михайловича Стецкевича. Статьи и воспоминания. Казань: Изд-во «ЯЗ», 2015. С.142.
- ⁵⁷ Савчук В.С. Анатолий Москаленко и другие. Личные воспоминания историка как источник по проблеме групповой идентичности // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 37. М., 2011. С. 224-254.
- ⁵⁸ Кутявин В.В. О моем университетском Учителе //

- Памяти профессора Станислава Михайловича Стецкевича. Статьи и воспоминания. Казань: Изд-во «ЯЗ», 2015. С.117-118.
- ⁵⁹ Ганелин Р.Ш. Советские историки: о чем они говорили между собой. Страницы воспоминаний о 1940-х - 1990-х годах. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2004. С.12-14.
- ⁶⁰ Кабытов П.С. Сквозь «лихие» и «нулевые»: Воспоминания. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2012. С.190-203.
- ⁶¹ Гуревич А.Я. История историка... С.261-264; Гутнова Е.В. Пережитое... С.313-324; Кабытов П.С. Сквозь «лихие» и «нулевые»... С.111-172.
- ⁶² Литвин А.Л. Жизнь как выживание... С.158-200.
- ⁶³ Гутнова Е.В. Пережитое. С.424-425; Кабытов П.С. Сквозь «лихие» и «нулевые»... С.173-180; Нарский И.В. Фотокарточка на память: Семейные истории, фотографические послания и советское детство (Автобио-историко-графический роман)...
- ⁶⁴ Литвин А.Л. Жизнь как выживание... С.158, 229.
- ⁶⁵ Кабытов П.С. Сквозь «лихие» и «нулевые»... С.26-38.
- ⁶⁶ Троицкий Н.А. Книга о любви... С.196.
- ⁶⁷ Троицкий Н.А. Книга о любви... С.196-220.
- ⁶⁸ Литвин А.Л. Жизнь как выживание... С.230-233.
- ⁶⁹ Кобрин В.Б. Кому ты опасен, историк?... С.131-133.
- ⁷⁰ Савчук В.С. Анатолий Москаленко и другие... С.249, 252.

MEMOIRS OF HISTORIANS AT THE TURNING POINT OF HISTORY: PERSONAL AND PROFESSIONAL SELF-IDENTITY

© 2016 O.B. Leontieva

Volga Branch of Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences, Samara
Samara National Research University named after academician S.P. Korolyov

In 1990s-2010s, at the times of great changes in historic reality and historical studies, some of the prominent Russian historians who belonged to different generations published their memoirs. This “memorial burst” could be interpreted as an experience of self-understanding of the scientific community. The memoirs of historians combine the features of historical source, historiographic paper and literary artifact; they contain valuable information on the communicative practices, corporate ethos of the scientific community, and strategies of personal behavior of scholars when they faced the historic challenges. We can interpret this complex of memoirs as one of the manifestations of the “anthropologic turn” in historiography: the turn towards studying “everyday life” of scholars. The devotion to the norms of professional ethics is often evaluated as an existential choice of historian in the context of “catastrophic Russian historicism”.

Keywords: memoirs; historical studies in Russia; contemporary historical studies

*Olga Leontieva, Doctor of History, Leading Research Fellow,
Volga branch of the Institute of Russian History, RAS;
Professor at the Department of Russian History, Institute of
Humanities and Social Sciences, Samara National Research
University named after academician S.P. Korolev.
E-mail: oleontieva@yandex.ru*